

Припадок

Студент-медик Майер и ученик московского училища живописи, ваяния и зодчества Рыбников пришли как-то вечером к своему приятелю студенту-юристу Васильеву и предложили ему сходить с ними в С в переулок. Васильев сначала долго не соглашался, но потом оделся и пошел с ними. Падших женщин он знал только понаслышке и из книг, и в тех домах, где они живут, не был ни разу в жизни. Он знал, что есть такие безнравственные женщины, которые под давлением роковых обстоятельств среды, дурного воспитания, нужды и т.п. вынуждены бывают продавать за деньги свою честь. Они не знают чистой любви, не имеют детей, не правоспособны; матери и сестры оплакивают их, как мертвых, наука третирует их, как зло, мужчины говорят им ты. Но, несмотря на всё это, они не теряют образа и подобия божия. Все они сознают свой грех и надеются на спасение. Средствами, которые ведут к спасению, они могут пользоваться в самых широких размерах. Правда, общество не прощает людям прошлого, но у бога святая Мария Египетская считается не ниже других святых. Когда Васильеву приходилось по костюму или по манерам узнавать на улице падшую женщину или видеть ее изображение в юмористическом журнале, то всякий раз он вспоминал одну историю, где-то и когда-то им вычитанную: какой-то молодой человек, чистый и самоотверженный, полюбил падшую женщину и предложил ей стать его женою, она же, считая себя недостойною такого счастья, отравилась. Васильев жил в одном из переулков, выходящих на Тверской бульвар. Когда он вышел с приятелями из дому, было около 11 часов. Недавно шел первый снег, и всё в природе находилось под властью этого молодого снега. В воздухе пахло снегом, под ногами мягко хрустел снег, земля, крыши, деревья, скамьи на бульварах всё было мягко, бело, молодо, и от этого дома выглядели иначе, чем вчера, фонари горели ярче, воздух был прозрачней, экипажи стучали глуше, и в душу вместе со свежим, легким морозным воздухом просилось чувство, похожее на белый, молодой, пушистый снег. Невольно к этим грустным берегам, запел медик приятным тенором, меня влечет неведомая сила...

Вот мельница... подтянул ему художник. Она уж развалилась...

Вот мельница... Она уж развалилась..., повторил медик, поднимая брови и грустно покачивая головою.

Он помолчал, потер лоб, припоминая слова, и запел громко и так хорошо, что на него оглянулись прохожие:

Здесь некогда меня встречала свободного свободная любовь...

Все трое зашли в ресторан и, не снимая пальто, выпили у буфета по две рюмки водки. Перед тем, как выпить по второй, Васильев заметил у себя в водке кусочек пробки, поднес рюмку к глазам, долго глядел в нее и близоруко хмурился. Медик не понял его выражения и сказал:

Ну, что глядишь? Пожалуйста, без философии! Водка дана, чтобы пить ее, осетрина чтобы есть, женщины чтобы бывать у них, снег чтобы ходить по нем. Хоть один вечер поживи по-человечески!

Да я ничего... сказал Васильев, смеясь. Разве я отказываюсь?

От водки у него потеплело в груди. Он с умилением глядел на своих приятелей, любовался ими и завидовал. Как у этих здоровых, сильных, веселых людей всё уравновешено, как в их умах и душах всё законченно и гладко! Они и поют, и страстно любят театр, и рисуют, и много говорят, и пьют, и голова у них не болит на другой день после этого; они и поэтичны, и распутны, и нежны, и дерзки; они умеют и работать, и возмущаться, и хохотать без причины, и говорить глупости; они горячи, честны, самоотверженны и как люди ничем не хуже его, Васильева, который сторожит каждый свой шаг и каждое свое слово, мнителен, осторожен и малейший пустяк готов возводить на степень вопроса. И ему захотелось хоть один вечер пожить так, как живут приятели, развернуться, освободить себя от собственного контроля. Понадобится водку пить? Он будет пить, хотя бы завтра у него лопнула голова от боли. Его ведут к женщинам? Он идет. Он будет хохотать, дурачиться, весело отвечать на затрогивания прохожих... Вышел он из ресторана со смехом. Ему нравились его приятели один в помятой широкополой шляпе с претензией на художественный беспорядок, другой в котиковой шапочке, человек не бедный, но с претензией на принадлежность к ученой богеме; нравился ему снег, бледные фонарные огни, резкие, черные следы, какие оставляли по первому снегу подошвы прохожих; нравился ему воздух и особенно этот прозрачный, нежный, наивный, точно девственный тон, какой в природе можно наблюдать только два раза в году: когда всё покрыто снегом и весною в ясные дни или в лунные вечера, когда на реке ломает лед.

Невольно к этим грустным берегам, запел он вполголоса, меня влечет неведомая сила...

И всю дорогу почему-то у него и у его приятелей не сходил с языка этот мотив, и все трое напевали его машинально, не в такт друг другу.

Воображение Васильева рисовало, как минут через десять он и его приятели постучатся в дверь, как они по темным коридорчикам и по темным комнатам будут красться к женщинам, как он, воспользовавшись потемками, чиркнет спичкой и вдруг осветит и увидит страдальческое лицо и виноватую улыбку.

Неведомая блондинка или брюнетка наверное будет с распущенными волосами и в белой ночной кофточке; она испугается света, страшно сконфузится и скажет: Ради бога, что вы делаете! Потушите! Всё это страшно, но любопытно и ново.

Приятеля с Трубной площади повернули на Грачевку и скоро вошли в переулок, о котором Васильев знал только понаслышке. Увидев два ряда домов с ярко освещенными окнами и с настежь открытыми дверями, услышав веселые звуки роялей и скрипок звуки, которые вылетали из всех дверей и мешались в странную путаницу, похожую на то, как будто где-то в потемках, над крышами, настраивался невидимый оркестр, Васильев удивился и сказал: Как много домов!

Это что! сказал медик. В Лондоне в десять раз больше. Там около ста тысяч таких женщин.

Извозчики сидели на козлах так же покойно и равнодушно, как и во всех переулках; по тротуарам шли такие же прохожие, как и на других улицах. Никто не торопился, никто не прятал в воротник своего лица, никто не покачивал укоризненно головой... И в этом равнодушии, в звуковой путанице роялей и скрипок, в ярких окнах, в настежь открытых дверях чувствовалось что-то очень откровенное, наглое, удалое и размашистое. Должно быть, во время оно на рабовладельческих рынках было так же весело и шумно и лица и походка людей выражали такое же равнодушие.

Начнем с самого начала, сказал художник.

Приятеля вошли в узкий коридорчик, освещенный лампой с рефлектором. Когда они отворили дверь, то в передней с желтого дивана лениво поднялся человек в черном сюртуке, с небритым лакейским лицом и с заспанными глазами. Тут пахло, как в прачечной, и кроме того еще уксусом. Из передней веда дверь в ярко освещенную комнату. Медик и художник остановились в этой двери и, вытянув шеи, оба разом заглянули в комнату.

Бона-сэра, сеньеры, риголетто-гугеноты-травиата! начал художник, театрально раскланиваясь.

Гаванна-таракано-пистолето! сказал медик, прижимая к груди свою шапочку и низко кланяясь.

Васильев стоял позади них. Ему тоже хотелось театрально раскланяться и сказать что-нибудь глупое, но он только улыбался, чувствовал неловкость, похожую на стыд, и с нетерпением ждал, что будет дальше. В дверях показалась маленькая блондинка лет 1718, стриженная, в коротком голубом платье и с белым аксельбантом на груди.

Что ж вы в дверях стоите? сказала она. Снимите ваши пальты и входите в залу. Медик и художник, продолжая говорить по-итальянски, вошли в залу.

Васильев нерешительно пошел за ними.

Господа, снимайте ваши пальты! сказал строго лакей. Так нельзя.

Кроме блондинки, в зале была еще одна женщина, очень полная и высокая, с нерусским лицом и с обнаженными руками. Она сидела около рояля и раскладывала у себя на коленях пасьянс. На гостей она не обратила никакого внимания.

Где же остальные барышни? спросил медик.

Они чай пьют, сказала блондинка. Степан, крикнула она, пойдй скажи барышням, что студенты пришли!

Немного погодя в залу вошла третья барышня. Эта была в ярко-красном платье с синими полосами. Лицо ее было густо и неумело накрашено, лоб прятался за волосами, глаза глядели не мигая и испуганно. Войдя, она тотчас же запела сильным, грубым контральто какую-то песню. За нею показалась четвертая барышня, за нею пятая...

Во всем этом Васильев не видел ничего ни нового, ни любопытного. Ему казалось, что эту залу, рояль, зеркало в дешевой золотой раме, аксельбант, платье с синими полосами и тупые, равнодушные лица он видел уже где-то и не один раз. Потемок же, тишины, тайны, виноватой улыбки, всего того, что ожидал он здесь встретить и что пугало его, он не видел даже тени.

Всё было обыкновенно, прозаично и неинтересно. Одно только слегка раздражало его любопытство это страшная, словно нарочно придуманная безвкусица, какая видна была в карнизах, в нелепых картинах, в платьях, в аксельбанте. В этой безвкусице было что-то характерное, особенное.

Как всё бедно и глупо! думал Васильев. Что во всей этой чепухе, которую я теперь вижу, может искусить нормального человека, побудить его совершить страшный грех купить за рубль живого человека? Я понимаю любой грех ради блеска, красоты, грации, страсти, вкуса, но тут-то что? Ради чего тут грешат? Впрочем... не надо думать!

Борода, угостите портером! обратилась к нему блондинка.

Васильев вдруг сконфузился.

С удовольствием... сказал он, вежливо кланаясь. Только извините, сударыня, я... я с вами пить не буду. Я не пью.

Минут через пять приятели шли уже в другой дом.

Ну, зачем ты потребовал портеру? сердился медик. Миллионщик какой!

Бросил шесть рублей, так, здорово-живешь, на ветер!

Если она хочет, то отчего же не сделать ей этого удовольствия? оправдывался Васильев.

Ты доставил удовольствие не ей, а хозяйке. Требовать от гостей угощения приказывают им хозяйки, которым это выгодно.

Вот мельница... запел художник. Она уж развалилась...

Придя в другой дом, приятели постояли только в передней, но в залу не входили. Так же, как и в первом доме, в передней с дивана поднялась фигура в сюртуке и с заспанным лакейским лицом. Глядя на этого лакея, на его лицо и поношенный сюртук, Васильев подумал: Сколько должен пережить обыкновенный, простой русский человек, прежде чем судьба забрасывает его сюда в лакеи? Где он был раньше и что делал? Что ждет его? Женат ли он? Где его мать и знает ли она, что он служит тут в лакеях? И уж Васильев невольно в каждом доме обращал свое внимание прежде всего на лакея. В одном из домов, кажется, в четвертом по счету, был лакей маленький, тщедушный, сухой, с цепочкой на жилетке. Он читал Листок и не обратил никакого внимания на вошедших. Поглядев на его лицо, Васильев почему-то подумал, что человек с таким лицом может и украсть, и убить, и дать ложную клятву. А лицо в самом деле было интересное: большой лоб, серые глаза, приплюснутый носик, мелкие, стиснутые губы, а выражение тупое и в то же время наглое, как у молодой гончей собаки, когда она догоняет зайца. Васильев подумал, что хорошо бы потрогать этого лакея за волосы: жесткие они или мягкие? Должно быть, жесткие, как у собаки.

Художник оттого, что выпил два стакана портеру, как-то вдруг опьянел и неестественно оживился.

Пойдемте в другой! командовал он, размахивая руками. Я вас поведу в самый лучший!

Приведя приятелей в тот дом, который, по его мнению, был самым лучшим, он изъявил настойчивое желание танцевать кадрили. Медик стал ворчать на то, что музыкантам придется платить рубль, но согласился быть vis-a-vis. Начали танцевать.

В самом лучшем было так же нехорошо, как и в самом худшем. Тут были точно такие же зеркала и картины, такие же прически и платья. Осматривая обстановку и костюмы, Васильев уже понимал, что это не безвкусица, а нечто такое, что можно назвать вкусом и даже стилем. С ва переулка и чего нельзя найти нигде в другом месте, нечто цельное в своем безобразии, не случайное, выработанное временем. После того, как он побывал в восьми домах, его уж не удивляли ни цвета платьев, ни длинные шлейфы, ни яркие банты, ни матросские костюмы, ни густая фиолетовая окраска щек; он понимал, что всё это здесь так и нужно, что если бы хоть одна из женщин оделась по-человечески или если бы на стене повесили порядочную гравюру, то от этого пострадал бы общий тон всего переулка.

Как неумело они продают себя! думал он. Неужели они не могут понять, что порок только тогда обаятелен, когда он красив и прячется, когда он носит

оболочку добродетели? Скромные черные платья, бледные лица, печальные улыбки и потемки сильнее действуют, чем эта аляповатая мишура. Глупые! Если они сами не понимают этого, то гости бы их поучили, что ли...

Барышня в польском костюме с белой меховой опушкой подошла к нему и села рядом с ним.

Симпатичный брюнет, что ж вы не танцуете? спросила она. Отчего вы такой скучный?

Потому что скучно.

А вы угостите лафитом. Тогда не будет скучно.

Васильев ничего не ответил. Он помолчал и спросил:

Вы в котором часу ложитесь спать?

В шестом.

А встаете когда?

Когда в два, а когда и в три.

А вставши, что делаете?

Кофий пьем, в седьмом часу обедаем.

А что вы обедаете?

Обыкновенно... Суп или щи, биштекс, десерт. Наша мадам хорошо содержит девушек. Да для чего вы всё это спрашиваете?

Так, чтоб поговорить...

Васильеву хотелось поговорить с барышней о многом. Он чувствовал сильное желание узнать, откуда она родом, живы ли ее родители и знают ли они, что она здесь, как она попала в этот дом, весела ли и довольна или же печальна и угнетена мрачными мыслями, надеется ли выйти когда-нибудь из своего настоящего положения... Но никак он не мог придумать, с чего начать и какую форму придать вопросу, чтоб не показаться нескромным. Он долго думал и спросил:

Вам сколько лет?

Восемьдесят, сострила барышня, глядя со смехом на фокусы, какие выделявал руками и ногами плясавший художник.

Вдруг она чему-то захохотала и сказала громко, так, что все слышали, длинную циничную фразу. Васильев оторопел и, не зная, какое выражение придать своему лицу, напряженно улыбнулся. Улыбнулся только один он, все же остальные его приятели, музыканты и женщины даже и не взглянули на его соседку, точно не слышали.

Угостите лафитом! опять сказала соседка.

Васильев почувствовал отвращение к ее белой опушке и к голосу и отошел от нее. Ему уж казалось душно и жарко, и сердце начинало биться медленно, но сильно, как молот: раз!-два!-три!

Пойдем отсюда! сказал он, дернув художника за рукав.

Погоди, дай кончить.

Пока художник и медик кончали кадрили, Васильев, чтобы не глядеть на женщин, осматривал музыкантов. На рояли играл благообразный старик в очках, похожий лицом на маршала Базена; на скрипке молодой человек с русой бородкой, одетый по последней моде. У молодого человека было лицо не глупое, не испитое, а наоборот, умное, молодое, свежее. Одет он был прихотливо и со вкусом, играл с чувством. Задача: как он и этот приличный, благообразный старик попали сюда? отчего им не стыдно сидеть здесь? о чем они думают, когда глядят на женщин?

Если бы на рояли и на скрипке играли люди оборванные, голодные, мрачные, пьяные, с испитыми или тупыми лицами, тогда присутствие их, быть может, было бы понятно. Теперь же Васильев ничего не понимал. Ему вспоминалась история падшей женщины, прочитанная им когда-то, и он находил теперь, что этот человеческий образ с виноватой улыбкой не имеет ничего общего с тем, что он теперь видит. Ему казалось, что он видит не падших женщин, а какой-то другой, совершенно особый мир, ему чуждый и непонятный; если бы раньше он увидел этот мир в театре на сцене или прочел бы о нем в книге, то не поверил бы...

Женщина с белой опушкой опять захохотала и громко произнесла отвратительную фразу. Гадливое чувство овладело им, он покраснел и вышел. Постой, и мы идем! крикнул ему художник.

Сейчас у меня с моей дамой, пока мы плясали, был разговор, рассказывал медик, когда все трое вышли на улицу. Речь шла об ее первом романе. Он, герой какой-то бухгалтер в Смоленске, имеющий жену и пятерых ребят. Ей было 17 лет и жила она у папаши и мамы, торгующих мылом и свечами. Чем же он победил ее сердце? спросил Васильев.

Тем, что купил ей белья на пятьдесят рублей. Чёрт знает что!

Однако же, вот он сумел выпытать у своей дамы ее роман, подумал Васильев про медика. А я не умею... Господа, я ухожу домой! сказал он.

Почему?

Потому, что я не умею держать себя здесь. К тому же мне скучно и противно. Что тут веселого? Хоть бы люди были, а то дикари и животные. Я ухожу, как угодно.

Ну, Гриша, Григорий, голубчик... сказал плачущим голосом художник, прижимаясь к Васильеву. Пойдем! Сходим еще в один, и будь они прокляты... Пожалуйста! Григорианц!

Васильева уговорили и повели вверх по лестнице. В ковре и в золоченых перилах, в швейцаре, отворившем дверь, и в панно, украшавших переднюю,

чувствовался всё тот же стиль С ва переулка, но усовершенствованный, импонирующий.

Право, я пойду домой! сказал Васильев, снимая пальто.

Ну, ну, голубчик... сказал художник и поцеловал его в шею. Не капризничай...

Гри-Гри, будь товарищем! Вместе пришли, вместе и уйдем. Какой ты скот, право.

Я могу подождать вас на улице. Ей-богу, мне здесь противно!

Ну, ну, Гриша... Противно, а ты наблюдай! Понимаешь? Наблюдай!

Надо смотреть объективно на вещи, сказал серьезно медик.

Васильев вошел в залу и сел. Кроме него и приятелей, в зале было еще много гостей: два пехотных офицера, какой-то седой и лысый господин в золотых очках, два безусых студента из межевого института и очень пьяный человек с актерским лицом. Все барышни были заняты этими гостями и не обратили на Васильева никакого внимания. Только одна из них, одетая Аидой, искоса взглянула на него, чему-то улыбнулась и проговорила, зевая:

Брюнет пришел...

У Васильева стучало сердце и горело лицо. Ему было и стыдно перед гостями за свое присутствие здесь, и гадко, и мучительно. Его мучила мысль, что он, порядочный и любящий человек (таким он до сих пор считал себя), ненавидит этих женщин и ничего не чувствует к ним, кроме отвращения. Ему не было жаль ни этих женщин, ни музыкантов, ни лакеев.

Это оттого, что я не стараюсь понять их, думал он. Все они похожи на животных больше, чем на людей, но ведь они все-таки люди, у них есть души. Надо их понять и тогда уж судить...

Гриша, ты же не уходи, нас подожди! крикнул ему художник и исчез куда-то. Скоро исчез и медик.

Да, надо постараться понять, а так нельзя... продолжал думать Васильев.

И он стал напряженно вглядываться в лицо каждой женщины и искать виноватой улыбки. Но или он не умел читать на лицах, или же ни одна из этих женщин не чувствовала себя виноватой на каждом лице он читал только тупое выражение обыденной, пошлой скуки и довольства. Глупые глаза, глупые улыбки, резкие, глупые голоса, наглые движения и ничего больше. По-видимому, у каждой в прошлом был роман с бухгалтером и с бельем на пятьдесят рублей, а в настоящем нет другой прелести в жизни, кроме кофе, обеда из трех блюд, вина, кадрили, спанья до двух часов...

Не найдя ни одной виноватой улыбки, Васильев стал искать: нет ли умного лица. И внимание его остановилось на одном бледном, немножко сонном, утомленном лице... Это была немолодая брюнетка, одетая в костюм, усыпанный блестками; она сидела в кресле, глядела в пол и о чем-то думала. Васильев прошелся из угла в угол и точно нечаянно сел рядом с нею.

Нужно начать с чего-нибудь пошлого, думал он, а потом постепенно перейти к серьезному... А какой у вас хорошенький костюмчик! сказал он и коснулся пальцем золотой бахромы на косынке.

Какой есть... сказала вяло брюнетка.

Вы из какой губернии?

Я? Дальняя... Из Черниговской.

Хорошая губерния. Там хорошо.

Там хорошо, где нас нет.

Жаль, что я не умею природу описывать, подумал Васильев. Можно было бы тронуть ее описаниями черниговской природы. Небось, ведь любит, коли родилась там.

Вам здесь скучно? спросил он.

Известно, скучно.

Отчего же вы не уходите отсюда, если вам скучно?

Куда ж я уйду? Милостыню просить, что ли?

Милостыню просить легче, чем жить здесь.

А вы откуда знаете? Нешто вы просили?

Просил, когда нечем было платить за ученье. Хотя бы даже не просил, это так понятно. Нищий, как бы ни было, свободный человек, а вы раба.

Брюнетка потянулась и проводила сонными глазами лакея, который нес на подносе стаканы и сельтерскую воду.

Угостите портером, сказала она и опять зевнула.

Портером... подумал Васильев. А что, если бы сейчас вошел сюда твой брат или твоя мать? Что бы ты сказала? А что сказали бы они? Был бы тогда портер, воображаю...

Вдруг послышался плач. Из соседней комнаты, куда лакей понес сельтерскую, быстро вышел какой-то блондин с красным лицом и сердитыми глазами. За ним шла высокая, полная хозяйка и кричала визгливым голосом:

Никто вам не позволял бить девушек по щекам! У нас бывают гости получше вас, да не дерутся! Шарлатан!

Поднялся шум. Васильев испугался и побледнел. В соседней комнате плакали навзрыд, искренно, как плачут оскорбленные. И он понял, что в самом деле тут живут люди, настоящие люди, которые, как везде, оскорбляются, страдают, плачут, просят помощи... Тяжелая ненависть и гадливое чувство уступили свое место острому чувству жалости и злобы на обидчика. Он бросился в ту комнату, где плакали; сквозь ряды бутылок, стоявших на мраморной доске стола, он разглядел страдальческое, мокрое от слез лицо, протянул к этому лицу руки, сделал шаг к столу, но тотчас же в ужасе отскочил назад. Плачущая была пьяна.

Пробираясь сквозь шумную толпу, собравшуюся вокруг блондина, он пал духом, струсил, как мальчик, и ему казалось, что в этом чужом, непонятном для него мире хотят гнаться за ним, бить его, осыпать грязными словами... Он сорвал с вешалки свое пальто и бросился опрометью вниз по лестнице.

Прижавшись к забору, он стоял около дома и ждал, когда выйдут его товарищи. Звуки роялей и скрипок, веселые, удалые, наглые и грустные, путались в воздухе в какой-то хаос, и эта путаница по-прежнему походила на то, как будто в потемках над крышами настраивался невидимый оркестр. Если взглянуть вверх на эти потемки, то весь черный фон был усыпан белыми движущимися точками: это шел снег. Хлопья его, попав в свет, лениво кружились в воздухе, как пух, и еще ленивее падали на землю. Снежинки кружились толпой около Васильева и висли на его бороде, ресницах, бровях... Извозчики, лошади и прохожие были белы.

И как может снег падать в этот переулок! думал Васильев. Будь прокляты эти дома!

Оттого, что он сбежал вниз по лестнице, ноги подгибались от усталости; он задыхался, точно взбирался на гору, сердце стучало так, что было слышно. Его томило желание скорее выбраться из переулка и идти домой, но еще сильнее хотелось дожидаться товарищей и сорвать на них свое тяжелое чувство.

Он многого не понял в домах, души погибающих женщин остались для него по-прежнему тайной, но для него ясно было, что дело гораздо хуже, чем можно было думать. Если та виноватая женщина, которая отравилась, называлась падшею, то для всех этих, которые плясали теперь под звуковую путаницу и говорили длинные отвратительные фразы, трудно было подобрать подходящее название. Это были не погибающие, а уже погибшие.

Порок есть, думал он, но нет ни сознания вины, ни надежды на спасение. Их продают, покупают, топят в вине и в мерзостях, а они, как овцы, тупы, равнодушны и не понимают. Боже мой, боже мой!

Для него также ясно было, что всё то, что называется человеческим достоинством, личностью, образом и подобием божьим, осквернено тут до основания, вдрызг, как говорят пьяницы, и что виноваты в этом не один только переулок да тупые женщины.

Толпа студентов, белых от снега, весело разговаривая и со смехом, прошла мимо него. Один из них, высокий и тонкий, остановился, заглянул Васильеву в лицо и сказал пьяным голосом:

Наш! Налимонился, брат? Ага-га, брат! Ничего, гуляй! Валяй! Не унывай, дядя!

Он взял Васильева за плечи и прижался к его щеке мокрыми холодными усами, потом поскользнулся, покачнулся и, взмахнув обеими руками, крикнул: Держись! Не падай!

И засмеявшись, побежал догонять своих товарищей.

Сквозь шум слышался голос художника:

Вы не смеете бить женщин! Я вам не позволю, чёрт вас подери! Негодяи вы такие!

В дверях дома показался медик. Он поглядел по сторонам и, увидев Васильева, сказал встревоженно:

Ты здесь? Послушай, ей-богу, с Егором положительно невозможно никуда ходить! Что это за человек, не понимаю! Скандал затеял! Слышишь? Егор! крикнул он в дверь. Егор!

Я вам не позволю бить женщин! раздался наверху пронзительный голос художника.

Что-то тяжелое и громоздкое покатилося вниз по лестнице. Это художник летел кубарем вниз. Его, очевидно, вытолкали.

Он поднялся с земли, отряхнул шляпу и со злым, негодующим лицом погрозил вверх кулаком и крикнул:

Подлецы! Живоде́ры! Кровопийцы! Я не позволю вам бить! Бить слабую, пьяную женщину! Ах, вы...

Егор... Ну, Егор... начал умолять медик. Даю тебе честное слово, уж больше никогда не пойду с тобой в другой раз. Честное слово!

Художник мало-помалу успокоился, и приятели пошли домой.

Невольно к этим грустным берегам, запел медик, меня влечет неведомая сила...

Вот мельница... подтянул, немного погодя, художник. Она уж развалилась... Экий снег валит, мать пресвятая! Гришка, отчего ты ушел? Трус ты, баба и больше ничего.

Васильев шел позади приятелей, глядел им в спины и думал:

Что-нибудь из двух: или нам только кажется, что проституция зло, и мы преувеличиваем, или же, если проституция в самом деле такое зло, как принято думать, то эти мои милые приятели такие же рабовладельцы, насильники и убийцы, как те жители Сирии и Каира, которых рисуют в Ниве. Они теперь поют, хохочут, здраво рассуждают, но разве не они сейчас эксплуатировали голод, невежество и тупость? Они я был свидетелем. При чем же тут их гуманность, медицина, живопись? Науки, искусства и возвышенные чувства этих душегубов напоминают мне сало в одном анекдоте. Два разбойника зарезали в лесу нищего; стали делить между собою его одежду и нашли в сумке кусок свиного сала. Очень кстати, сказал один из них,

давай закусим. Что ты, как можно? ужаснулся другой. Разве ты забыл, что сегодня среда? И не стали есть. Они, зарезавши человека, вышли из лесу с уверенностью, что они постники. Так и эти, купивши женщин, идут и думают теперь, что они художники и ученые...

Послушайте, вы! сказал он сердито и резко. Зачем вы сюда ходите? Неужели, неужели вы не понимаете, как это ужасно? Ваша медицина говорит, что каждая из этих женщин умирает преждевременно от чахотки или чего-нибудь другого; искусства говорят, что морально она умирает еще раньше. Каждая из них умирает оттого, что на своем веку принимает средним числом, допустим, пятьсот человек. Каждую убивает пятьсот человек. В числе этих пятисот вы! Теперь, если вы оба за всю жизнь побываете здесь и в других подобных местах по двести пятьдесят раз, то значит на обоих вас придется одна убитая женщина! Разве это не понятно? Разве не ужасно? Убить вдвоем, втроем, впятером одну глупую, голодную женщину! Ах, да разве это не ужасно, боже мой?

Так и знал, что этим кончится, сказал художник, морщась. Не следовало бы связываться с этим дураком и болваном! Ты думаешь, что теперь у тебя в голове великие мысли, идеи? Нет, чёрт знает что, а не идеи! Ты сейчас смотришь на меня с ненавистью и с отвращением, а по-моему, лучше бы ты построил еще двадцать таких домов, чем глядеть так. В этом твоём взгляде больше порока, чем во всем переулке! Пойдем, Володя, чёрт с ним! Дурак, болван и больше ничего...

Мы, люди, убиваем взаимно друг друга, сказал медик. Это, конечно, безнравственно, но философией тут не поможешь. Прощай!

На Трубной площади приятели простились и разошлись. Оставшись один, Васильев быстро зашагал по бульвару. Ему было страшно потемок, страшно снега, который хлопьями валил на землю и, казалось, хотел засыпать весь мир; страшно было фонарных огней, бледно мерцавших сквозь снеговые облака. Душою его овладел безотчетный, малодушный страх. Попадались изредка навстречу прохожие, но он пугливо сторонился от них. Ему казалось, что отовсюду идут и отовсюду глядят на него женщины, только женщины... Начинается у меня, думал он. Припадок начинается...

Дома лежал он на кровати и говорил, содрогаясь всем телом:

Живые! Живые! Боже мой, они живые!

Он всячески изощрял свою фантазию, воображал себя самого то братом падшей женщины, то отцом ее, то самою падшею женщиною с намазанными щеками, и всё это приводило его в ужас.

Ему почему-то казалось, что он должен решить вопрос немедленно, во что бы то ни стало, и что вопрос этот не чужой, а его собственный. Он напряг силы,

поборол в себе отчаяние и, севши на кровать, обняв руками голову, стал решать: как спасти всех тех женщин, которых он сегодня видел? Порядок решения всяких вопросов ему, как человеку ученому, был хорошо известен. И он, как ни был возбужден, строго держался этого порядка. Он припомнил историю вопроса, его литературу, а в четвертом часу шагал из угла в угол и старался вспомнить все те опыты, какие в настоящее время практикуются для спасения женщин. У него было очень много хороших приятелей и друзей, живших в номерах Фальцфейн, Галяшкина, Нечаева, Ечкина... Между ними немало людей честных и самоотверженных. Некоторые из них пытались спасти женщин...

Все эти немногочисленные попытки, думал Васильев, можно разделить на три группы. Одни, выкупив из притона женщину, нанимали для нее номер, покупали ей швейную машинку, и она делалась швеей. И выкупивший, вольно или невольно, делал ее своей содержанкой, потом, кончив курс, уезжал и сдавал ее на руки другому порядочному человеку, как какую-нибудь вещь. И падшая оставалась падшею. Другие, выкупив, тоже нанимали для нее отдельный номер, покупали неизбежную швейную машинку, пускали в ход грамоту, проповеди, чтение книжек. Женщина жила и шила, пока это для нее было интересно и ново, потом же, соскучившись, начинала тайком от проповедников принимать мужчин или же убегала назад туда, где можно спать до трех часов, пить кофе и сытно обедать. Третьи, самые горячие и самоотверженные, делали смелый, решительный шаг. Они женились. И когда наглое, избалованное или тупое, забитое животное становилось женою, хозяйкой и потом матерью, то это переворачивало вверх дном ее жизнь и мировоззрение, так что потом в жене и в матери трудно было узнать бывшую падшую женщину. Да, женитьба лучшее и, пожалуй, единственное средство. Но невозможное! сказал вслух Васильев и повалился в постель. Я первый не мог бы жениться! Для этого надо быть святым, не уметь ненавидеть и не знать отвращения. Но допустим, что я, медик и художник пересилили себя и женились, что все они выйдут замуж. Но какой же вывод? Вывод какой? А тот вывод, что пока здесь, в Москве, они будут выходить замуж, смоленский бухгалтер развратит новую партию, и эта партия хлынет сюда на вакантные места с саратовскими, нижегородскими, варшавскими... А куда девать сто тысяч лондонских? Куда девать гамбургских?

Лампа, в которой выгорел керосин, стала чадить. Васильев не заметил этого. Он опять зашагал, продолжая думать. Теперь уж он поставил вопрос иначе: что нужно сделать, чтобы падшие женщины перестали быть нужны? Для этого необходимо, чтобы мужчины, которые их покупают и убивают, почувствовали всю безнравственность своей рабовладельческой роли и ужаснулись. Надо спасать мужчин.

Наукой и искусствами, очевидно, ничего не поделаешь... думал Васильев. Тут единственный выход это апостольство.

И он стал мечтать о том, как завтра же вечером он будет стоять на углу переулка и говорить каждому прохожему:

Куда и зачем вы идете? Побойтесь вы бога!

Он обратился к равнодушным извозчикам и им скажет:

Зачем вы тут стоите? Отчего же вы не возмущаетесь, не негодуете? Ведь вы веруете в бога и знаете, что это грешно, что за это люди пойдут в ад, отчего же вы молчите? Правда, они вам чужие, но ведь и у них есть отцы, братья, точно такие же, как вы...

Кто-то из приятелей сказал однажды про Васильева, что он талантливый человек. Есть таланты писательские, сценические, художнические, у него же особый талант человеческий. Он обладает тонким, великолепным чутьем к боли вообще. Как хороший актер отражает в себе чужие движения и голос, так Васильев умеет отражать в своей душе чужую боль. Увидев слезы, он плачет; около больного он сам становится больным и стонет; если видит насилие, то ему кажется, что насилие совершается над ним, он трусит, как мальчик, и, струсив, бежит на помощь. Чужая боль раздражает его, возбуждает, приводит в состояние экстаза и т.п.

Прав ли приятель не знаю, но то, что переживал Васильев, когда ему казалось, что вопрос решен, было очень похоже на вдохновение. Он плакал, смеялся, говорил вслух те слова, какие он скажет завтра, чувствовал горячую любовь к тем людям, которые послушаются его и станут рядом с ним на углу переулка, чтобы проповедовать; он садился писать письма, давал себе клятвы...

Всё это было похоже на вдохновение уж и потому, что продолжалось недолго. Васильев скоро устал. Лондонские, гамбургские, варшавские своею массою давили его, как горы давят землю; он робел перед этой массой, терялся; вспоминал он, что у него нет дара слова, что он труслив и малодушен, что равнодушные люди едва ли захотят слушать и понимать его, студента-юриста третьего курса, человека робкого и ничтожного, что истинное апостольство заключается не в одной только проповеди, но и в делах...

Когда было светло и на улице уже стучали экипажи, Васильев лежал неподвижно на диване и смотрел в одну точку. Он уже не думал ни о женщинах, ни о мужчинах, ни об апостольстве. Всё внимание его было обращено на душевную боль, которая мучила его. Это была боль тупая, беспредметная, неопределенная, похожая и на тоску, и на страх в высочайшей степени, и на отчаяние. Указать, где она, он мог: в груди, под сердцем; но сравнить ее нельзя было ни с чем. Раньше у него бывала сильная зубная боль,

бывали плеврит и невралгии, но всё это в сравнении с душевной болью было ничтожно. При этой боли жизнь представлялась отвратительной.

Диссертация, отличное сочинение, уже написанное им, любимые люди, спасение погибающих женщин всё то, что вчера еще он любил или к чему был равнодушен, теперь при воспоминании раздражало его наравне с шумом экипажей, беготней коридорных, дневным светом... Если бы теперь кто-нибудь на его глазах совершил подвиг милосердия или возмутительное насилие, то на него то и другое произвело бы одинаково отвратительное впечатление. Из всех мыслей, лениво бродивших в его голове, только две не раздражали его: одна что он каждую минуту имеет власть убить себя, другая что боль не будет продолжаться дольше трех дней. Второе он знал по опыту.

Полежав, он встал и, ломая руки, прошелся не из угла в угол, как обыкновенно, а по квадрату, вдоль стен. Мельком он поглядел на себя в зеркало. Лицо его было бледно и осунулось, виски впали, глаза были больше, темнее, неподвижнее, точно чужие, и выражали невыносимое душевное страдание.

В полдень в дверь постучался художник.

Григорий, ты дома? спросил он.

Не получив ответа, он постоял минуту, подумал и ответил себе по-хохлацки:

Нема. В нивырситет пийшов, треклятый хлопец.

И ушел. Васильев лег на кровать и, спрятав голову под подушку, стал плакать от боли, и чем обильней лились слезы, тем ужаснее становилась душевная боль. Когда потемнело, он вспомнил о той мучительной ночи, которая ожидает его, и страшное отчаяние овладело им. Он быстро оделся, выбежал из номера и, оставив свою дверь настежь, без всякой надобности и цели вышел на улицу. Не спрашивая себя, куда идти, он быстро пошел по Садовой улице.

Снег валил, как вчера; была оттепель. Засунув руки в рукава, дрожа и пугаясь стуков, звонков конки и прохожих, Васильев прошел по Садовой до Сухаревой башни, потом до Красных ворот, отсюда свернул на Басманную. Он зашел в кабак и выпил большой стакан водки, но от этого не стало легче. Дойдя до Разгуляя, он повернул вправо и зашагал по переулкам, в каких не был раньше ни разу в жизни. Он дошел до того старого моста, где шумит Яуза и откуда видны длинные ряды огней в окнах Красных казарм. Чтобы отвлечь свою душевную боль каким-нибудь новым ощущением или другою болью, не зная, что делать, плача и дрожа, Васильев расстегнул пальто и сюртук и подставил свою голую грудь сырому снегу и ветру. Но и это не уменьшило боли. Тогда он нагнулся через перила моста и поглядел вниз, на черную, бурливую Яузу, и ему захотелось броситься вниз головой, не из отвращения к жизни, не ради самоубийства, а чтобы хотя ушибиться и одною болью отвлечь другую. Но черная вода, потемки, пустынные берега, покрытые снегом, были страшны. Он

содрогнулся и пошел дальше. Прошелся он вдоль Красных казарм, потом назад и спустился в какую-то рощу, из рощи опять на мост...

Нет, домой, домой! думал он. Дома, кажется, легче...

И он пошел назад. Вернувшись домой, он сорвал с себя мокрое пальто и шапку, зашагал вдоль стен и неумоимо шагал до самого утра.

Когда на другой день утром пришли к нему художник и медик, он в разодранной рубаше и с искусанными руками метался по комнате и стонал от боли.

Ради бога! зарыдал он, увидев приятелей. Ведите меня, куда хотите, делайте, что знаете, но, бога ради, скорее спасайте меня! Я убью себя!

Художник побледнел и растерялся. Медик тоже едва не заплакал, но, полагая, что медики во всех случаях жизни обязаны быть хладнокровны и серьезны, сказал холодно:

Это у тебя припадок. Но это ничего. Пойдем сейчас к доктору.

Куда хотите, только, ради бога, скорей!

Ты не волнуйся. Нужно бороться с собой.

Художник и медик дрожащими руками одели Васильева и вывели его на улицу.

Михаил Сергеич давно уже хочет с тобой познакомиться, говорил дорогою медик. Он очень милый человек и отлично знает свое дело. Кончил он в 82 году, а практика уже громадная. Со студентами держит себя по-товарищески. Скорее, скорее... торопил Васильев.

Михаил Сергеич, полный белокурый доктор, встретил приятелей учтиво, солидно, холодно и улыбнулся одной только щекой.

Мне художник и Майер говорили уже о вашей болезни, сказал он. Очень рад служить. Ну-с? Садитесь, покорнейше прошу...

Он усадил Васильева в большое кресло около стола и придвинул к нему ящик с папиросами.

Ну-с? начал он, поглаживая колени. Приступим к делу... Сколько вам лет?

Он задавал вопросы, а медик отвечал. Он спросил, не был ли отец Васильева болен какими-нибудь особенными болезнями, не пил ли запоем, не отличался ли жестокостью или какими-либо странностями. То же самое спросил о его деде, матери, сестрах и братьях. Узнав, что его мать имела отличный голос и играла иногда в театре, он вдруг оживился и спросил:

Виноват-с, а не припомните ли, не был ли театр у вашей матушки страстью?

Прошло минут двадцать. Васильеву наскучило, что доктор поглаживает колени и говорит всё об одном и том же.

Насколько я понимаю ваши вопросы, доктор, сказал он, вы хотите знать, наследственна моя болезнь или нет. Она не наследственна.

Далее доктор спросил, не было ли у Васильева в молодости каких-либо тайных пороков, ушибов головы, увлечений, странностей, исключительных пристрастий. На половину вопросов, какие обыкновенно задаются старательными докторами, можно не отвечать без всякого ущерба для здоровья, но у Михаила Сергеевича, у медика и художника были такие лица, как будто если бы Васильев не ответил хотя бы на один вопрос, то всё бы погибло. Получая ответы, доктор для чего-то записывал их на бумажке. Узнав, что Васильев кончил уже на естественном факультете и теперь на юридическом, доктор задумался...

В прошлом году он написал отличное сочинение... сказал медик.

Виноват, не перебивайте меня, вы мешаете мне сосредоточиться, сказал доктор и улыбнулся одной щекой. Да, конечно, и это играет роль в анамнезе. Форсированная умственная работа, переутомление... Да, да... А водку вы пьете? обратился он к Васильеву.

Очень редко.

Прошло еще двадцать минут. Медик стал вполголоса высказывать свое мнение о ближайших причинах припадка и рассказал, как третьего дня он, художник и Васильев ходили в С в переулочек.

Равнодушный, сдержанный, холодный тон, каким его приятели и доктор говорили о женщинах и о несчастном переулочке, показался ему в высшей степени странным...

Доктор, скажите мне только одно, сдерживая себя, чтобы не быть грубым, сказал он, проституция зло или нет?

Голубчик, кто ж спорит? сказал доктор с таким выражением, как будто давно уже решил для себя все эти вопросы. Кто спорит?

Вы психиатр? спросил грубо Васильев.

Да-с, психиатр.

Может быть, все вы и правы! сказал Васильев, поднимаясь и начиная ходить из угла в угол. Может быть! Но мне всё это кажется удивительным! Что я был на двух факультетах в этом видят подвиг; за то, что я написал сочинение, которое через три года будет брошено и забудется, меня превозносят до небес, а за то, что о падших женщинах я не могу говорить так же хладнокровно, как об этих стульях, меня лечат, называют сумасшедшим, сожалеют!

Васильеву почему-то вдруг стало невыносимо жаль и себя, и товарищей, и всех тех, которых он видел третьего дня, и этого доктора, он заплакал и упал в кресло.

Приятели вопросительно глядели на доктора. Тот с таким выражением, как будто отлично понимал и слезы, и отчаяние, как будто чувствовал себя

специалистом по этой части, подошел к Васильеву и молча дал ему выпить каких-то капель, а потом, когда он успокоился, раздел его и стал исследовать чувствительность его кожи, коленные рефлексy и проч.

И Васильеву полегчало. Когда он выходил от доктора, ему уже было совестно, шум экипажей не казался раздражительным и тяжесть под сердцем становилась всё легче и легче, точно таяла. В руках у него было два рецепта: на одном был бромистый калий, на другом морфий... Всё это принимал он и раньше!

На улице он постоял немного, подумал и, простившись с приятелями, лениво поплелся к университету.